

Это – не научная публикация. И не биографический этюд. Скорее – композиция, составленная из выбранных мест из переписки двух любящих друг друга выдающихся людей – **Марлен ДИТРИХ**, чей столетний юбилей только что широко отметили во всем мире, и **Эриха Мария РЕМАРКА**. Об этой любви, оборвавшейся в 1939 году, как теперь говорят, «по стечению обстоятельств», и затем плавно перешедшей в дружбу, оставили память 300 писем Ремарка. Не считая, конечно, образа Жоан Маду – героини «Триумфальной арки», которая, по общему мнению, просто выткана из черт Марлен. Он называет ее Пума. Себе же избирает прозвище «Равик» (то же имя, как известно, носит герой еще тогда не законченной «Триумфальной арки»). Была и еще одна роль – уже совсем не свойственная Ремарку. Маленький мальчик «Альфред», пишущий нежные детские письма «тете Лене». Причем в тяжелые моменты жизни Марлен, как ни странно, предпочитает именно «Альфреда». Недавно эти письма вышли в кельнском издательстве «Кипенхойер и Витч» (см. «ОГ», № 45 за 2001 г.) и сразу же привлекли к себе колоссальный интерес.

25.11.1937
Ночь, и я жду, когда ты позвонишь из Нью-Йорка. Рядом спят собаки, играет граммофон. Пластинка «Легко любить». «...Я чувствую, очнувшись ото сна, что ты вся под каждой клеточкой кожи...»
Нежная моя! Любимая, трепетная! У мимозы рядом с моим домом в эти дни распустилась маленькая ветка. По утрам она золотится на солнце на фоне белой стены. Мягкая, как твоё сонное дыхание на моем плече.
Очарование мое! Иногда по ночам я протягиваю руку и хочу подвинуть твою голову ко мне поближе – но у тебя еще день, и фонари на улицах только начинают понемногу мерцать, ты у себя в комнате, собираешься с кем-то поужинать или пойти в театр, на кровати лежат вечерние платья, и ты в раздумье, то ли надеть золотое от Шипарелли, то ли черное-золотое от Аликс. <...>
Что ни сделаешь, чтобы обмануть себя сладкими воспоминаниями. Я люблю тебя, милая, мне тебя страшно не хватает, я пытаюсь об этом не думать, не думать о той темноте и о том мгновении, когда ты ко мне пришла, и свет был выключен, и ты летела из темноты прямо ко мне в объятия, и ночь распалась, и комната распалась, и мир распался, и твои губы были самыми мягкими в мире, и твои колени обнимали меня, и твои плечи, и твой нежный голос – приди же снова, снова, – трепещущая, бесконечно любимая...

07.12.1937. Париж
Маленькая, очаровательная обезьянка, до чего же удручающая жизнь! Ты на другом конце света и лишь изредка шлешь телеграммы. Неужели писать письма так трудно?
Я скоро здесь медленно и тихо рехнусь. Видения мягко насаиваются друг на друга – и во всех ты смотришь на меня и о чем-то меня спрашиваешь. Что же ты хочешь знать? <...>
Маленькая меланхолическая пантера из зоопарка – смеясь, осмевая же нас всех. Об идиотах не стоит грустить. Они созданы для того, чтоб над ними смеялись.
Ну же, нун Голубая, изумрудная волна! Беги! Пенсия! Пенсия белой пенной в волосах. Ведь мы все – вечные сидельцы! Нетерпение – наш рок и наше счастье! И если я так нетерпеливо тебя жажду – кто наполнит это счастье желания тысячекратным обладанием. Но ты – больше, чем свершение. Любимая, вечно меняющееся видение Бога.

после 07.12.1937
Так дальше нельзя! Я хотел быть спокойным и уметь ждать, я так старался себя обмануть, я говорил себе: «скорее, или: она не ушла», или: «еще несколько недель... Но так дальше нельзя.
Этот город встает против меня, швыряет меня из конца в конец, улицы что-то бормочут о тебе, и дома бормочут, и «Максим». Я нигде не бываю, но ты все равно приходишь ко мне в комнату, стоишь и спрашиваешь, спрашиваешь...
Со мной такого никогда не было. Я совершенно разбит. Мне недостает черной переливающей подземной реки, звука скрипки над крышами, серебристого воздуха декабря, меланхолии серого неба, да что там, мне недостает тебя, сладчайшее мое сердце, самый золотой сон, зарница над лесами, над мирами параша любви.
<...> Наваждение растаяло. Это было как любовное похищение без женщин – отчаянная попытка ухватиться за несуществующее. Ты должна лежать на моем плече, я хочу ощущать твоё дыхание. Ты не можешь уйти. Господи, наша с тобой жизнь так коротка, и уже столько пропущено, упущено...

24.12.1937
Иногда ты очень далека от меня, и тогда я осознаю, что мы, собственно, так далеки и не были наедине. Ни в Венеции, ни в Париже. Всегда вокруг людей, вещи, обстоятельства. А потом приходит мысль, от которой захватывает дух: мы где-то одни, только мы, и будет вечер, и будет день, и снова вечер, а мы все еще одни, и все глубже и глубже погружаемся друг в друга, и ничто не может нас оторвать, ничто не тревожит, не волнует, не зовет, ничто не скрапывает у нас даже частицы этого бесконечного дня, наше дыхание глубоко и спокойно; вчера еще сегодня, а завтра – уже вчера, и вопрос звучит как ответ, и повседневность стала счастьем.
Мы будем черпать время полными ладонями, нам не нужно будет его измерять, не нужно будет намечать цели, назначать встречи, мы станем ручьями, втекающими друг в друга, мы станем рассветом и звездами, сквозящую тишину полудня нам немыслимо склонится Пан, а вместе с ним все божества ручьев, родников, облаков, ласковых перелетов и улетающей жизни.



300 писем к Марлен

Прелестная Дриала – мы так мало были вместе. Мы еще не насмотрелись друг на друга. Все произошло так быстро, времени ни на что не хватало. Ах, что я знаю о твоих коленях и скате твоих плеч, изгибах твоего тела и матовом мерцании твоей кожи! Сколько времени мне для этого нужно! Бесплезно все мерить привычными мерками – днями, годами, месяцами, неделями. Мне нужно для этого столько времени, пока не поседеют мои волосы, не помутнеют мои глаза, а больше я ничего не знаю.
<...> Только три месяца освещала ты мою жизнь, остальные девять покрыты тенью. Девять месяцев, в течение которых можно зачать, выходить и родить ребенка, девять темных месяцев, полных видений прошлого, девять месяцев без звука твоего имени, без касания твоих рук, без твоего дыхания, бегения твоего сердца, без твоего молчания и твоего зова, без твоего восторга и твоего сна – о, приди же, восприли!

04.04.1938
Нежная, сладостная, бесконечно любимая, неужели ты приезжаешь! Это известие непостижимо, невероятно, неправдоподобно, ошеломляющее. Оно не укладывается в голове. От него вздымаются волны, мягкие и бесконечные, плывут облака, веет ветер, бушует весна Алкионы над водами Стикса, разве у меня в груди не шевелится нарциссы, разве чело мое не обдувает чувственный поток, разве перело мной не качаются неверные горизонты и не проносятся видения о бухтах, где никогда не было снега. Нежная любовь моя! Можно ли было нам расстаться! Это преступление. Но сейчас, когда ты приезжаешь, все начинается сначала.

Слышала ли ты, как часто я с тобой разговаривал? Хотя по-настоящему я могу с тобой разговаривать, лишь когда я совершенно один. Тогда я сажусь в своем уголке на ковер перед огнем, вглядываюсь в него, и звезды с неба вдруг начинают падать мне в руки, облака нежно ложатся на мои плечи, я начинаю твердить бессмысленные слова. И тогда, уже не в силах этого вынести, я зову собак, выбегаю из дома, ловлю машину, и мы мчимся по набережной, сквозь мертвую тишину итальянских городков, глаза широко раскрыты, и никогда не раздается дикий визг тормозов – звук, который преследует нас по ночам. И вот резкая остановка, и я кричу: ты, твои руки, твоё дыхание, это – чудо, мираж, ты – на этой чужой ночной улице и здесь же меня, и я тебя нашел. Любимая, сила жизни, когда жить не хочется, мой ангел, моя молния, мое благоволение, мадонна моей души, о как я хочу вырваться наружу, искать тебя по всем улицам, невообразимая...

до 20.04.38
У всех у нас так мало тепла в сердце для самих себя. Мы – дети потерянного времени. И веры нам мало! От нас требуется все больше неустрашимости, а взамен даётся все меньше надежды. Мы – бедные, маленькие



солдаты, мы маршируем, маршируем и не знаем, что существует еще что-то, кроме этого.
Глупые маленькие солдаты жизни, дети потерянного времени, которым по ночам снится один-единственный сон.
Не грусти, что я тебе это пишу. Я не хочу, чтобы ты грустила. Раньше ты грустила так часто. Но со мной – ни разу. Я же вообще не грустил никогда, так как слишком много знаю о том, чем все кончится.

23.09.1938. Париж
Возлюбленная Пума, благодарю тебя за звонки, иглы для граммофона и за то, что ты есть. Я тебе ответил, но ты была еще в дороге. Кажется, что война все-таки начнется. Я был на радио, а теперь еду в город. Если еще не поздно, завтра увижу, что можно спасти в Порто Ронко. Я целую тебя, мое сентябрьское небо, альб.

25.09.1938
Люксембургский парк (так у Ремарка. – А.С.) под дождем. Могилы Шопена и Гейне под опавшей листвой – мрачное воскресенье.
В маленьком бистро я нашел вино из Вены, то, кото-

рое тебе так нравилось. Вот оно. Его надо пить не слишком холодным, когда на улице дождь стучит по мостовой, и стоя недалеко от окна.

24-26.11.1938. Париж
Нежная моя возлюбленная, ты говорила по телефону, и сквозь шум океана твой голос порой звучал так чисто, как будто звонил колокол – колокол с другого конца света.

Чарующая утренняя звезда над лесным пепелищем – я ужасно нетерпелив, иногда раздражителен, и то, что я вижу вокруг, меня не слишком радует. Но потом вдруг накатывает некая воздушная волна с ароматом сена с бескрайних заливных лугов, где порхают бабочки, скачут кузнечики, мелькают бумажные змеи на горизонте, и эта ласковая волна вдруг наполняется тобой, и больше нет неудач, поскольку ты рядом, и нет больше невезения и нелепого одиночества, так как я вижу тебя, и все превращается в сладкую муку, в некую безмятежную грусть, в некую меланхолическую мелодию, потому что ты думаешь обо мне, и я чувствую это. Ведь истинное несчастье – смерть, гибельное умирание. Но ты есть жизнь, мой изумрудный прибор, пенящийся на скалах. Пусть радуется тот, кто прошел сквозь одиночество, как сквозь колоннаду, для кого ожидание уже невообразимое счастье.

31.12.1938 – 02.01.1939. Порто Ронко
Любимая, а ведь это – последний день нашего с тобой первого года. И день этот медленно уходит, как уходит все.

Но наша энергия, отраженная в зеркале мира, возвращается к нам в виде некоей эссенции чистого опыта. И это не тот опыт, что накапливается в клеточках мозга, как в сотах пчелиного улья, и делает нас старыми, неперевариваемыми, неповоротливыми, осмотрическими, нерешительными. Наш опыт, как стрела, проникает в кровь, наполняет нас жизнью, делает более резкими, смелыми и потому более молодыми. Таков закон Пумы, Змеи и Сокола. Кто видел их старыми? Они юны и стары до последнего дня. У Заратустры иное сочетание – Змея и Орел. Но нам оно не подходит. Казаться полностью расслабленной – и в одно мгновение напрячься для броска. Таков закон Пумы. Таков и закон настоящей жизни. Дух – вовсе не тормоз в машине истинного наслаждения, а скорее несущаяся вперед тройка. Наслаждение – вот оно, найденное слово! Сифилитик (Ницше. – А.С.) знал, о чем писал. Но он имел дело с Орлом и Змеей, а ему не хватало Пумы с ее гибкостью, способностью по-кошачьи прыгнуть на весь мир, как за добычей – на запах крови.

Небесный месал над лесами, свет моей души, давно забытый зов, замурованный во всех нас, – в этой вечной темноте времени и всего навсегда ушедшего. И мне и тебе знаком этот зов. Любимая, когда-то ты была мальчиком в стовратных Фивах, и я любил тебя.

Да, я знаю этот зов. И я не иду его там, где он звучит

нестроено или только на полтона. Тайна звука в том, что он отзывается чисто лишь там, где существует двуединство зова и эха – передатчика и приемника. Отшумевший ветер, отсвечивший свет, отлетевший зов! Как же гудко они проносятся под сводами, где годами живут летучие мыши, а проросшие корни деревьев сплелись в некое подобие рыбачьей сети. Я люблю тебя. Какие темные, дикие, гудкие слова, пришедшие нигде. Сколько расставаний таится в них!

Расставания и возвращения! А в самом деле, вернемся ли мы когда-нибудь друг к другу? Нищие говорят, что мертвые имеют лишь одно преимущество перед живыми: они никогда не умирают.

Если бы ты была только актрисой, все было бы много проще; ведь корни лицедейства не прорастают глубоко, а порой вообще стелются по земле. Но твои корни глубоки и разветвлены. Потому и воздействие твоё совсем иного рода. Виртуозная техника актерской игры здесь вовсе не при чём – некоторые делают это лучше, однако их игра оставляет равнодушным. Ты же – потрясаешь, захватываешь. И захватываешь каким-то совсем непонятным образом, и это, конечно, и есть самое трудное.

Красота и индивидуальность, обаяние и характер. Почему-то с тех, кому все это дано, спрашивается по самой высокой мерке. И только по-настоящему великий или совсем никудашный режиссер может эти качества неожиданно соединить. Джо (Йозеф фон Штернберг. – А.С.) это однажды удалось: он понял твою суть. Взглянул на тебя, правда, был ограничен, и потому он показал тебя лишь с одной стороны, зато показал до конца. Остальное ты дополнила сама: двухмерность, проблески трагического в платоническом, но, конечно, не в Аристотелевом смысле.

Маленькая Пума. То, что для тебя важно в жизни, важно и в работе: тебе вообще можно было бы позволить делать только то, что ты хочешь. Ибо ты знаешь, что нужно и где ты нужна. Однако не все понимают твою суть и порой понуждают тебя делать то, что ты не любишь. Нельзя брать Пуму в дом, чтобы они вели себя как домашние кошки.

Впрочем, оставим все это, любимая. Достаточно того, что мы с тобой знаем. У нас нет больше времени для реминисценций. И у нас нет времени жить воплоти. Когда встретимся, поговорим об этом.

Кем только ты ни была в жизни: матерью, поварихой, вельмой, милашкой и еще черт знает кем. Но теперь ты – Пума. А тот, кто не умеет обращаться с Пумами, должен беречь пальцы. У Пум – самые быстрые ноги и самые сильные мышцы.

Но еще и мягчайший мех, и сладчайшие губы...

08.01.1939. Порто Ронко
Моя любимая Пума написала мне письмо, которое сделало меня счастливым. В нем все, что может сказать человек другому человеку, но еще и то, что ты можешь сказать только мне. Каждый из нас настолько стал судьбой другого, что словами это вряд ли можно объяснить. И каждый раз меня охватывает безграничное удивление: нет, не потому, что все происходит именно так, как происходит, а потому, что в наше суматошное время наши с тобой жизни, полные колебаний, поисков, находок и не находок, вдруг стали единой сутью, – как, почему так случилось. Как же я люблю тебя! Сколько неистраченного тепла я чувствую в себе. Столько лишь сердце может вместить. Как все вдруг наполнилось счастьем! Почему то, что я ненавидел всю жизнь, стало вдруг важным и прекрасным, а то, за чем я так гнался, сгинulo навсегда?

18.01.1939. Порто Ронко
О, Пума! Я – в кровати. Болит желудок, болит сердце – а рядом нет Пумы. Возлюбленная моя, сошедшая с небес, какие прекрасные письма ты мне пишешь. Я ведь всегда говорил: писатели не должны писать писем. У некоторых это получается лучше.

Как приятно, когда ты мне сообщаешь, что ты спокойна и счастлива, даже когда совсем одна. Ведь именно этого я хотел!

Иногда я один сижу под дождем и занимаюсь самокопанием. И тогда чувствую, что наш с тобой мир вовсе не разрушен, нечто потихоньку вновь возвращается ко мне, и это, оказывается, ты, и тогда я вдруг испытываю счастье, какое вряд ли кто когда испытывал: вместе с тобой ко мне возвращается частица молодости, которую, казалось, у меня навсегда отняла война.

Люби меня! Скажи, что ты меня любишь – и я тогда стану лучше. Я работаю лучше, спокойнее, быстрее, если ты говоришь, что любишь меня. И я живу только тем, что ты меня любишь. Люби меня, Пума.

P.S. Сколько писем написала сама Марлен Дитрих, точно неизвестно – сохранились лишь 20 (остальные были уничтожены Полюет Голлар, актрисой, ставшей женой писателя). Мы же публикуем два из них, написанных «просто так, без всякого повода» уже в период дружбы Дитрих и Ремарка.

Марлен Дитрих – Эриху Мария Ремарку, Париж, 01.12.1945

Я даже не знаю, как мне к тебе обращаться. «Равик» – теперь общее достояние. Я пишу потому, что вдруг ощутила острую тоску. Судя по всему, мне недостает хлеба с печеным пахтетом – утеха всех удрученных. Печеночного пахтета для души. Париж – в густом тумане, и мне почти не видно Елисейских Полей. Я – в смятении. Чувствую себя разбитой, опустошенной, я не вижу цели в жизни. Больше не нахожу рыска за продуктами и думать о том, как перелететь их самолетами в Берлин, чтобы прокормить зимой мать. Я не знаю, куда мне деться. Вчера вечером нашла за фотографией дочка три письма от тебя, в которых ты даешь мне замечательные советы. Письма не помечены датами, но я знаю, когда ты писал их. Это – память, прошедшая через года. В письмах ты негодующ по поводу того, что я потянула в мелкобуржуазности – «ты успокоилась, занявшись вышиванием крестиками».

Меня не успокаивает вышивание крестиками! Я восстаю, билась с окружающим (не всегда по правилам), наконец вырвалась на волю и вот сижу теперь на воле одна, всеми покинутая, в чужом городе. И нахожу твои письма. И пишу тебе просто так, без всякого повода. Меня тянет к Альфреду, который мне пишет: «Я думаю, что любовь – чудо, что вдвоем много легче, чем одному – как аэропланам». Я тоже так думала. Твоя растерзанная Пума.

Марлен Дитрих – Эриху Мария Ремарку. 16.09.1970
Возлюбленный Альфред. Все мое сердце принадлежит тебе. Шлю его тебе.

Алексей СЛАВИН
Берлин